

6. ПРОЗРЕНИЯ АНТИСТАЛИНСКОГО ГОДА.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА», том 2-й и последний

I

Набатный рассказ Александра Яшина

Времена изменились за полгода — изменились решительно: снова, на этот раз в китайском посольстве, Никита Хрущев назвал себя сталинцем.

Однако запретители не успели. Книга появилась, и сразу заговорила Россия о рассказе Александра Яшина «Рычаги»⁴⁰.

Бывший вологодский крестьянин, связанный со своей деревней до конца жизни, обласканный государством поэт, лауреат Сталинской премии, свой, кровный, земляной. Вот уж от кого сталинцы не ожидали!..

Этот рассказ стоил Яшину жизни, во всяком случае, сократил ему жизнь, обрушив на его семью много бед.

«Рычагам» Александра Яшина сопутствовали другие произведения, о которых упомяну позднее, — Юрия Нагибина, Николая Жданова, — но набатом, заставившим людей поднять голову, прислушаться, а иных — действовать, звенел и звенел рассказ Яшина.

А он прост и, казалось, ни к чему не призывает...

Если вы его не знаете, познакомьтесь с ним. Обязательно: в нем сконцентрирована не только беда прошлая, но и нынешняя, да и завтрашняя. Коренная беда России, подмятой произволом. Когда у людей отняли не только право на действие, но и право на раздумье. На мышление. На естественную человеческую жизнь, немыслимую без раздумья о жизни.

Нетрудно представить себе, как солдаты становятся *рычагами* и как их бросают, скажем, на венгров. Солдат давал присягу. Ему приказывают стрелять — он стреляет. Альтернатива — военный трибунал или самоубийство.

Можно понять, как рычагами становятся партийные чиновники. Они — рычаги уж по самой должности. За то им бездна привилегий, не говоря уж о двойной зарплате. Они независимость свою продают. Сознательно.

Но почему, как становятся *рычагами* крестьяне, сама народная толща — об этом не говорили на Руси давненько.

«Народ безмолвствует» — когда еще сказано! И безмолвием сво-

им, — вторит Яшин, — способствует разору деревни, произволу, словом — злодейству.

Эзопу языку здесь места нет. Тут все черным по белому.

Пожалуй, впервые после войны земная, добротная, не обесцвеченная порой жиденьким «усредненным» языком города, народная проза снова, после перерыва в четверть века, вышла на большак. И стала основой и продолжением целого направления послевоенной советской литературы, окрещенного позднее *деревенской прозой*...

Начало почти символично в своей бытовой повседневности. Сидят в правлении колхоза четыре человека и курят. Дыму столько, что дышать нельзя. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму, дыму — почти не видать друг друга... Один из колхозников говорит соседу, роняющему искры: «Сожжешь бороду коровы бояться перестанут». На что второй отвечает неизменно: «Бояться перестанут, так, может, удоя прибавят».

Так, словно бы не о главном, пустяшный разговор.

А вовсе не пустяшный. Это — запов. Звучит главная тема, западает в нас, хотя мы еще и не знаем, что она — главная.

И опять — быт. Обычный, деревенский. Казенный, поскольку это — Правление.

Полумрак. Случайные плакаты и лозунги. К какой-то праздничной дате. Но висят они, по обыкновению, круглый год. Список членов колхоза с указанием выработанных трудодней. И пустая, вся черная, доска, разделенная чертой на две равные части. На одной половине сверху написано: «*черная*», на другой — «*красная*».

Доска черна, как их жизнь. Но одну половину принято считать красной. Почетной.

Вы уже начинаете постигать атмосферу ожидания, хотя, казалось, еще ничего не сказано. Дым. Доска. Случайные реплики. Сахара в деревне нет. Нет, никто не жалуется! Просто один из курцов сообщает, что ему кладовщик «подбросил два кило. Бойтся, что ли?» Другой подтверждает: «Конечно, бойтся! Я ж теперь новый кладовщик». Автор поясняет тут же, что кладовщиком-то назначили его, колхозника этого, потому что он в партию вступил. А вступив в нее несколько месяцев назад, начал поговаривать о том, что все командные посты в колхозе должны занимать коммунисты.

Все просто, даже простодушно. Получил партбилет — на тебе дополнительный корм! Тем более, тут же вспомнили, что старый кладовщик проворовался. А то раньше не знали...

Новый коммунист-кладовщик купил авторучку и стал носить галстук. Приобщился к руководству.

Атмосфера прояснилась, несмотря на дым. Теперь все явственней звучит главная тема. «Взял-то я взял (сахар то есть. — Г.С.), — сказал Щукин после некоторого раздумья. — Но где же все-таки правда? Куда уходит сахар? Где мыло? Где все?...» А другой собеседник шутит: «Зачем тебе правда, ты сейчас — кладовщик?»

Кто-то прогудел деловито: «Ну, правда — она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять, что у нас в районе делается? Вот ведь сказали — планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают. Третий раз вернули для поправок... От нашего плана опять ничего не осталось».

Разговор обретает глубину: от сахара, от коров — к тому, что руки у людей связаны.

«Вот тебе и правда. Не верят нам», — говорит один из героев. «Правду у нас в районе сажают только в почетные президиумы, чтоб не обижалась да помалкивала», — сказал другой колхозник и бросил окурок в горшок. Ввернул слово и Щукин, кладовщик: «Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима, — так, что ли, выходит?»

Так и длится этот обмен репликами. Обычный человеческий разговор людей, которым надоела ложь. Хотя иные, как новый кладовщик, уже успевают извлечь из нее выгоду. Очень просто уговорить себя: власть кто? Партия... Значит, и я власть, давай должность!

Завершается эта вполне человеческая доверительная беседа односельчан досадливой репликой одного из героев, который был в районе, у *самого*, и сказал тому: «... Что ж вы, говорю, с нами делаете? Не согласятся колхозники третий раз план изменять. А он говорит: «Вот ты и убеждай. Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали. А сейчас ты убеждай других. Проводи партийную линию. Вы, говорит, теперь наши *рычаги* в деревне».

Так впервые появляется это словечко: *рычаги*. В каком значении? Для какой цели людей рычагами назвали? Для того, как видите, чтоб восторжествовала официальная ложь. Неосуществимые планы. Планы-разорители. Чтоб сеяли не то, что деды сеяли и что взойдет. А то, что решили в Москве да по областям и районам разверстали.

Другая власть — другие «планы» в почете...

Как в таком случае может вести себя секретарь райкома? Честный — напишет протест, подставит голову под удар. Нечестный... Сама система, как видим, отбирает их, как сортовые зерна. Один к одному. «Он с народом не разговаривает по-простому, — рассказывает о секретаре райкома тот же колхозник. — Ведь знает, что получаем в кол-

хозе по сто граммов на трудодень. А твердит одно: «С каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается благосостояние». Коров в нашем колхозе не стало. А он: «С каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство». Скажи, мол, живете вы неважно потому-то и потому-то, но будете жить лучше, скажи, и люди охотнее за работу возьмутся...»

Но правды секретарь райкома не говорит, он лжет...

Если иметь в виду, что лжет-то он не своими словами, а словами, почерпнутыми из докладов руководителей государства Хрущева, Булганина, лжет, так сказать, государственными стереотипами, нетрудно понять тот огромный риск, на который пошел Александр Яшин, решившись порвать с укоренившейся государственной ложью.

Идет он в своем разрыве до конца. Что называется, режет по живому.

Немного откашлявшись, но еще не разгибаясь, один из колхозников поднял голову и сказал с хрипотцой: «Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся. Сами все понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать?.. На рычаги надеются... Дома заколоченные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и забот, чтоб в сводках все цифры были круглые».

А тут лампа гаснуть начала, и кто-то замечает, *между прочим*: «Эх, черт, погаснет без воздуха. Лампе тоже воздух нужен».

Течет беседа, дружеская, искренняя, впечатляющую правду которой усиливают как бы случайные детали. Дым. Доска, половину которой приказано считать красной. Лампа, которой тоже воздух нужен...

И тут вдруг появляется перестраховочная нота, об этом мы говорили, рассматривая творчество Казакевича, Некрасова и других писателей, пошедших в свое время на смертельный риск. Выглядывает вдруг не автор, а тот самый «соавтор» — внутренний редактор, который шепчет автору: «Ты что, ты о чем говоришь-то? Да тебя за это до смерти забудут! Уморят голодом! И тебя и детей твоих!.. А то и срок дадут! За решетку упрячут!...»

Вспомнил невольно об этом Александр Яшин, он ведь тоже пережил сталинщину, как и все. И попытался как бы смягчить свой разговор разорителям страны. Тем же, надо сказать, приемом, что и Казакевич и Некрасов... Это-де у нас плохо, в нашем селе, а вот в других местах не в пример иначе... «На полке, в переднем углу, слышнес заработал радиоприемник. Он все так же потрескивал и шипел, словно выдыхающийся пенный огнетушитель. но теперь сквозь шипенье и потрескивание пробивалась не музыка, а окаяющая, с запинками

речь. Передавались письма с целинных земель. «Нас всех зовут москвичами, хотя мы из разных городов. Держимся дружно, в обиду себя никому не даем. Урожай в прошлом году выдался небывалый, в пшеницу войдешь, словно в камыши. Даже старики не помнят таких хлебов. Для ссыпки не хватало мест, тяжело было».

Автор раздраженно перебивает себя; чувствуется, он стал противен самому себе. Один из героев пресекает эту похвальбу: «Не всем же на Алтай ехать!»

И вдруг послышался в избе какой-то шум. Из-за широкой русской печи раздался повелительный старушечий окрик: «Куда сыплешь, дохлой? Не тебе подметать!»

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись.

«Ты все еще тут, Марфа? Чего тебе надо?» — «Чего надо! За вами слежу! Подпалите контору, а меня на суд потянут. Метла сухая. А вдруг искра. и не приведи бог!..» — «Иди-ка ты домой!» — «Когда надо будет, уйду!»

Разговор друзей оборвался, словно они почувствовали себя в чем-то друг перед другом виноватыми, Долго молчали, курили. А когда начали опять перебрасываться короткими фразами, это были уже пустые фразы. Ни о чем. Ни для кого...

Наконец один из них, Шукин, еще не привыкший к руководящему положению, еще в душе рядовой колхозник, вдруг не выдержал и громко захохотал: «Ох, и напугала ж нас проклятая баба!»

Все переглянулись и тоже захохотали. «И верно, дьяволица, вдруг из-за печки как рявкнет. Ну, думаю, сам приехал, нас застучал. Перепугались, как мальчишки на чужом горохе».

Смех разрядил напряженность и вернул людям их нормальное самочувствие. «И чего мы боимся, мужики, — раздумчиво и немножко грустно произнес Петр Кузьмич. — Ведь самих себя боимся».

«Самих себя боимся». Вот, оказывается, какие дела. До чего доведена, нет, не чиновная Россия, а глубинная Россия, та народная толща, на которую уповали все, от Достоевского до народников. Не тронутая ложью, истинная крестьянская Русь.

И сказал это крестьянский поэт, вологодский по выговору и складу мышления, сказал, как перепуганы мужики. Вологодские мужики, до которых даже татарва не дошла, Чингисхан не достал.

Чингисхан не достал, а Сталин с Хрущевым — в самый раз.

Пришла учительница, которую ждали, и началось партийное собрание, ради которого собрались. Учительница, усаживаясь, жалуется, что в школе нет дров.

— О делах потом! — обрывает ее председательствующий. — Сей-

час собрание проводить надо! Райком давно требует, чтобы в месяц два собрания было, а и одного сговориться, запротоколировать не можем. Как отчитываться будем?

(Язык-то какой пошел сразу, государственный... Да и то, не о делах ведь речь, о делах потом...)

Вот куда бросил камень отчаянный, а скорее, отчаявшийся Александр Яшин. Партийное действие-то никому не нужно. *Не для дела оно, для отчета.*

На устои посягнул. На фундамент бюрократической машины, которая без этой суety сразу станет грудой металлолома.

Ну, а Марфа, беспартийная запечная Марфа, глухота российская, самая что ни есть надежда народников, она понимает, что происходит?

А как же! Она не ослушалась, не заворчала, когда ее стали выпроваживать. Не обозвала партийного курильщика — дохлой, как в тот раз, — по-родному, по-вологодски. «Говорите-говорите (заторопилась она), разве я не понимаю? Выйду!..»

Ведь теперь уж была не жизнь, в которой Марфа имеет право словечко сказать, а *закрытое партийное собрание...*

Автор едва сдерживает и гнев, и иронию, которая, чуть усиль ее, была бы равносильна самоубийству: «Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем привычную и понятную для этих простых сердечных людей...»

А тут еще вину усилила странная опечатка. Хотел автор вроде бы сказать, что после того как Щукина поставили кладовщиком, «рядовых колхозников в парторганизации не было...» А напечатано было куда более еретическое, более точное, хотя, не исключено, это была действительно опечатка: «С той поры, как Щукина поставили кладовщиком, рядовых колхозников и парторганизации не было».

«Не случайная, злостная опечатка! Вредительская!» — твердили на всякий случай испуганные чиновники от литературы.

Ну, а само собрание, естественно, течет, несет словесный мусор; — «... мы не предусмотрели и пустили на самотек... Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее...»

И хотя Щукин иронизирует в углу над потоком пустословия, молодой он коммунист, непривычный, вполголоса иронизирует, его уже наставляют кто поопытнее, пообтертее: «Ладно, уж не мешай ему выговориться. *Так надо!* (Подчеркнуто мною. — Г.С.). Петр Кузьмич сейчас в своей должности. Как в районе, так и у нас. Каков поп, таков и приход».

Притихают они, готовые проголосовать за что угодно. *Так надо!*.. Только что люди были, а уж больше не люди. Рычаги.

Кончилась официальная мертвечина, вломилась молодежь, которой не терпелось потанцевать, тут ведь и правление, и клуб — одна в селе казенная хата, — раскрыли настежь окна; «Ну, и дыму у вас! — шумели девушки».

Дым-то оказался не простым. А *партийным*... Задымили Россию, задурили. До тошноты, до головокружения.

Такова сила поэтического образа, когда рукой Поэта водят страдание и мужество. И он решился крикнуть на всю Россию: — Люди мы! Люди, а не рычаги...

Источник: Свирский Г. Ц. Набатный рассказ Александра Яшина / Г. Свирский // На лобном месте : литература нравственного сопротивления, 1946–1986. Литература войны, 1941–1945 / Г. Свирский. – Москва, 1998. – С. 117–123.